

## Глава V

### ЛЮБИМЧИК СТАЛИНА: 1929—1937

Московская Промышленная академия имени Сталина, расположенная за Садовым кольцом, в бывшей летней резиденции царской семьи, была символом построения нового социалистического общества. В 1929 году большевики провели обширную чистку среди «буржуазных специалистов», служивших новой власти с 1917-го. Чтобы найти им замену, партия призвала бывших пролетариев в университеты и другие вузы<sup>1</sup>. Задачей Промакадемии было превратить кадры с опытом управления (в партии, правительственных органах, комсомоле, профсоюзах) в социалистических хозяйственников. В 1929 году в академию поступила всего сотня студентов со всех концов страны. По завершении трехгодичного курса выпускников предполагалось направлять на крупные заводы, в индустриальные комплексы и правительственные экономические учреждения<sup>2</sup>.

Несмотря на важность этого начинания для государства, преподавание в академии шло туго. «...Когда такому человеку дают высшую математику после трех зим учебы в школе, то ему очень трудно, — вспоминала одна из преподавателей. — Кроме того, человеку в сорок пять лет очень трудно сидеть в классе, как восьмилетнему, по четыре часа, у них работа, семьи, они быстро устают. Им было очень трудно, но они старались»<sup>3</sup>.

Хрущев был зачислен в академию в сентябре 1929-го. Нина Петровна и дети оставались в Киеве до лета следующего года. В это время Хрущеву было тридцать пять лет. Он занимал важное положение в украинском партийном аппарате и имел в Кремле могущественного покровителя — Кагановича. Однако, по его собственным словам, в академии его встретили негостеприимно. «Товарищи говорили, что я

не подойду им, и рекомендовали идти на курсы марксизма-ленинизма при ЦК партии». По их мнению, для работы в сфере народного хозяйства Хрущеву недоставало опыта. В конце концов, говорили ему, «здесь создано учебное заведение для управляющих, для директоров»<sup>4</sup>.

Даже в 1929 году, когда курсы марксизма-ленинизма еще пользовались большим авторитетом, чем в последующие годы, такое предложение звучало унижительно. Несомненно, в нем был намек не только на недостаток образования, но и на просталинские симпатии Хрущева: в то время многие в академии сомневались в Сталине и, возможно, рассматривали необразованность и неопытность Хрущева лишь как предлог, чтобы от него избавиться. Попасть в академию Хрущев смог лишь с помощью Кагановича и лишь после того, как пообещал «подтянуться»<sup>5</sup>. Менее десяти лет спустя Хрущев, один из пятнадцати самых высокопоставленных партийцев, покинул Москву, чтобы стать первым секретарем ЦК компартии Украины; академию он так и не окончил.

Между 1929 и 1938 годами карьера Хрущева пошла круто вверх: май 1930-го — глава партячейки Промакадемии, январь 1931-го — первый секретарь Бауманского райкома, где располагалась академия; шесть месяцев спустя — аналогичная должность в Краснопресненском, самом большом и влиятельном районе столицы; январь 1932-го — второй человек в горкоме Москвы; январь 1934-го — первый секретарь горкома и член ЦК партии; начало 1935-го — первый секретарь обкома огромной и густонаселенной Московской области<sup>6</sup>. Даже в эпоху повышенной социальной мобильности карьера Хрущева поражает воображение. А самое поразительное, что победу за победой Хрущев одерживал в те самые годы, когда страну сотрясали сперва ужасы коллективизации, затем — жестокие репрессии.

Смерть косила его товарищей — а Хрущев не только оставался жив и на свободе, но и процветал. Разумеется, не он начал репрессии и не он их контролировал. Это делали Сталин со своими ближайшими сподвижниками — Вячеславом Молотовым, Лазарем Кагановичем и Климентом Ворошиловым, а также руководители НКВД Генрих Ягода, Николай Ежов и Лаврентий Берия, управлявшие машиной репрессий. До самого конца десятилетия Хрущев не входил в ближний сталинский круг. Однако он тоже несет ответственность. Даже Рой Медведев, биограф, чрезвычайно симпатизирующий Хрущеву, не смог найти ни одного свидетельства, которое бы указывало на то, что Хрущев когда-либо противостоял

Сталину или пытался защитить кого-либо из московских партийных и государственных деятелей<sup>7</sup>. В самый пик террора Хрущев произнес пламенные речи, побуждая «массы» к охоте на ведьм. Будучи руководителем Московской парторганизации, он лично одобрял аресты многих своих коллег и их уничтожение с помощью механизма, который сам позже назвал мясорубкой.

Как объяснить поведение Хрущева? Что сказать в его защиту? Как и многие другие, Хрущев полагал, что строит новое социалистическое общество, а ради этой благой цели самые жестокие средства хороши. Если он не видел истинного положения вещей — или, вернее, закрывал на него глаза — в этом он был не одинок. Сталин скрывал свои намерения и чередовал периоды репрессий с минутами послабления. До 1935-го, возможно, даже до 1936 года человек, подобный Хрущеву, вполне мог верить Сталину — а потом стало уже поздно. Как и многие другие, Хрущев оказался в мышеловке. Сопrotивление стоило бы ему жизни. Единственный способ спасти себя и свою семью — безоговорочно подчиняться вождю.

Примерно так мог бы оправдывать свои действия Хрущев. Однако характерно, что этого мы от него не слышим: как на вершине власти, так и позднее, в мемуарах, он прибегает к тактике обмана и самообмана, уверяя, что искренне верил в правоту Сталина и вину его воображаемых врагов. В то же время сами его воспоминания, если читать их в контексте других биографических сведений, разоблачают эту ложь<sup>8</sup>.

У Хрущева были веские причины не говорить правды — причины политические. После знаменитой атаки на Сталина в 1956 году признание собственной вины подорвало бы не только его положение, но и советскую власть как таковую. Кроме того, по-видимому, он испытывал такое глубокое чувство вины, что боялся признаться в ней даже самому себе. Была и еще одна причина как для верной службы Сталину, так и для позднейшего молчания: тридцатые годы, ставшие для многих его товарищей эпохой падения и гибели, открыли Хрущеву дорогу к вершинам власти.

После обескураживающего приема в Промакадемии — какой головокружительный восторг должен был охватить его при знакомстве со Сталиным! Что он должен был чувствовать, сидя рядом с вождем на приемах в Кремле и семейных ужинах на сталинской даче, видя, как лидер СССР и мирового коммунизма смотрит на него с уважением и симпатией. Как известно, собственный отец не отвечал ожиданиям

Хрущева: не слишком ли смело будет предположить, что в Сталине он нашел замену отцу — потому и идеализировал его, несмотря на явные доказательства обратного? «Сталину я нравился, — настаивал он позднее. — Конечно, глупо и сентиментально говорить о таком человеке, что он кого-то любил; но, без сомнения, ко мне он относился с большим уважением»<sup>9</sup>. И далее: «Ко мне Сталин относился лучше, чем к другим. Меня некоторые из Политбюро считали чуть ли не его любимчиком»<sup>10</sup>.

Если эти воспоминания радовали Хрущева и в конце жизни — что же он должен был чувствовать, когда все только начиналось! Очевидно, что его вовлеченность в репрессии нельзя объяснять одной лишь слепой верой в вину обвиняемых, или стремлением выдвинуться, или страхом тюрьмы и смерти. Она была связана с обожанием Сталина — и с убежденностью, что этот человек, которого Хрущев почти боготворил, относится к нему с симпатией.

В то время, когда Хрущев переехал в Москву, в СССР начиналась новая «революция сверху». Нэп, принесший стране относительный мир и благосостояние, был отменен. Троцкий, Зиновьев и Каменев, лидеры течения, которое Сталин называл «левой оппозицией», давно уже требовали скорейшей индустриализации; им противостояли Сталин и Бухарин, настаивавшие на том, что в стране с преобладающим крестьянским населением большевики должны приспосабливаться к нуждам крестьянства. Однако зимой 1927/28 года, когда крестьяне потребовали более выгодных условий продажи зерна, Сталин решил, что пора перевести земледелие на государственные рельсы, поставив его под жесткий контроль. В конце 1928 года почти 99 % земли находилось в частном владении. Первый пятилетний план коллективизации, принятый в апреле 1929-го, к 1933 году был выполнен лишь на 17,5 %. Бухарин с самого начала возражал против коллективизации, но его «правая оппозиция» (в которую входили также председатель Совета министров Алексей Рыков, глава профсоюзов Михаил Томский и первый секретарь МК и МГК Николай Угланов) в апреле 1929 года потерпела поражение, а семь месяцев спустя была принуждена «покаяться». В январе 1930 года Сталин объявил о *полной* коллективизации в наиболее стратегически важных районах страны и потребовал, чтобы его план был проведен в жизнь немедленно — сперва к осени того же года, затем — к началу весеннего сева<sup>11</sup>.

То, что началось далее, можно назвать войной власти против крестьянства: насильственная экспроприация имущества, высылка миллионов кулаков в Сибирь, со стороны крестьян — возмущения и протесты, порой доходившие до вооруженных мятежей; и как следствие всего этого — голод. Из Москвы была видна далеко не полная картина происходящего, хотя и столица страдала от недостатка продуктов и была наводнена беженцами из деревни. Однако любой русский со связями в деревне — особенно человек, подобный Хрущеву, с корнями в Южной России или на Украине, где голод был сильнее всего, — просто не мог не понимать, что происходит<sup>12</sup>.

Хрущев рассказывает в своих воспоминаниях, как весной 1930 года отправился в колхоз под Самарой, где впервые увидел голодающих крестьян: «Люди от недоедания передвигались, как осенние мухи». До того, по его собственным словам, он «практически не представлял себе действительного положения на селе... Жили мы в Промышленной академии изолированно и, чем дышала деревня, не знали». От своих украинских друзей он слышал рассказы о крестьянских восстаниях, подавляемых Красной Армией. И тут же, на одном дыхании, он заключает: «Только много лет спустя я осознал, какой голод, какие бедствия повлекла за собой коллективизация, как ее проводил Сталин»<sup>13</sup>.

Отчаянное положение деревни заставило Сталина в марте 1930-го опубликовать статью, обвиняющую местных руководителей в «головокружении от успехов». В своей речи тридцать лет спустя Хрущев язвительно спрашивает: «Что же это за головокружение было в тридцатом году? Головокружение от голода, а не от успехов! Есть было нечего. Я в то время, товарищи, жил в Москве, и все мы знали, от чего это головокружение»<sup>14</sup>. Однако в то время, настаивает он в мемуарах, он считал статью Сталина «шедевром», хотя и «был несколько смущен: как же так, все было хорошо, а потом вдруг такое письмо».

Два года спустя, рассказывает Хрущев, он с ужасом узнал, что на Украине разразился голод. «Я просто не представлял себе, как может быть в 1932 году голодно на Украине. Когда я уезжал в 1929-м, Украина находилась в приличном состоянии по обеспеченности продуктами питания. А в 1926-м мы вообще жили по стандарту довоенного времени... И вдруг — голод!» Однако тут же он возвращается к заезженной пластинке: «Уже значительно позже (узнав о том, что в Киев приходили поезда, нагруженные трупами) я узнал о действительном положении дел»<sup>15</sup>.

Коллективизации сопутствовала индустриализация — также всеобщая и проводившаяся силовыми методами. Первый пятилетний план был сосредоточен на производстве чугуна и стали: задания плана было физически невозможно выполнить — однако их несколько раз повышали. Между 1928 и 1932 годами реальная заработная плата рабочих в Москве сократилась наполовину. Были приняты драконовские законы, запрещающие свободный переход с одной работы на другую и грозящие страшными карами (вплоть до смертной казни за хищение госимущества) за нарушения дисциплины на рабочем месте. Из-за нехватки еды и жилья часто вспыхивали забастовки как в столице, так и в других городах<sup>16</sup>.

Все это вызывало у многих партийцев понятные вопросы и сомнения. Старые коммунисты жаловались Сталину на то, что статья о «головкружении от успехов» взваливает вину на кого угодно, кроме высшего партийного руководства<sup>17</sup>. В августе 1932 года бывший первый секретарь Московского обкома Мартемьян Рютин обвинил Сталина в развале страны и призвал «свергнуть... [его и его клику] как можно скорее». Истолковав это высказывание как призыв к убийству, Сталин потребовал для Рютина высшей меры наказания, однако члены Политбюро, включая Сергея Кирова, воспротивились этому решению<sup>18</sup>.

К 1934 году, казалось, оппозиция была разгромлена — но это только казалось. На XVII съезде партии все выступающие превозносили имя Сталина; однако перед самими выборами в Политбюро и Секретариат, как рассказывают, к Кирову явилась делегация членов ЦК и попросила его выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря как альтернативу кандидатуре Сталина. Если верить Хрущеву, Киров рассказал об этом Сталину, на что вождь ответил: «Спасибо, я тебе этого не забуду!»<sup>19</sup>

Сомнения в Сталине отразились и в голосовании по ЦК. Голосование проводилось по спискам: чтобы высказать несогласие, следовало вычеркнуть фамилию нежелательного кандидата. Кандидаты, против которых подавалось меньше всего голосов, чувствовались как самые популярные партийные лидеры. По Хрущеву, голосование должно было быть тайным, однако Каганович «инструктировал нас, молодых, как относиться к спискам кандидатов, причем делал это доверительно, чтобы никто не узнал». Каганович хотел удостовериться, что «Сталин не получит меньше голосов, чем... другие члены Политбюро»<sup>20</sup>.

Позже Хрущев утверждал, что поведение Кагановича произвело на него плохое впечатление. Поразило его и то,

как голосовал сам Сталин: «Демонстративно, на глазах у всех, получив списки, подошел к урне и опустил их туда не глядя». В то время Хрущев не знал — и, по его словам, узнал только много позже, — что против Сталина подали голоса не два или три человека, как утверждалось в то время, а около 160 или даже 260<sup>21</sup>.

То, что столько делегатов (из 1225) проголосовали против него, убедило Сталина в необходимости дальнейших репрессий. Впоследствии 1108 из присутствовавших на съезде делегатов были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности и ликвидированы. Около 70 % из 131 члена ЦК (71 действительный член и 68 кандидатов), выбранных на этом съезде, также погибли как «враги народа» прежде, чем подошло к концу десятилетие<sup>22</sup>.

В феврале 1934-го Хрущев совершил прыжок из кандидатов в действительные члены ЦК. Как сам он объяснял позже: «Сталин был умный человек. Он понимал, кто мог голосовать против него на XVII съезде ВКП(б). Только старые ленинцы могли голосовать против него. Он понимал, что такие, как Хрущев — молодые кадры, которые поднимались наверх при Сталине и смотрели на него как на бога, ловили каждое его слово — не станут против него голосовать»<sup>23</sup>.

Подняться к вершинам власти Хрущеву помогло не наивное обожествление тирана, а верная служба ему.

Осенью 1929 года Промакадемия была цитаделью анти-сталинских настроений. «Правые развернули свою деятельность, — вспоминал Хрущев. — Руководство партийной ячейкой академии было в руках правых». Старая гвардия, бывшие директора и профсоюзные лидеры, направленные в академию для повышения образования, «группировались вокруг Бухарина и поддерживали его, поддерживали Угланова, поддерживали Рыкова против Сталина»<sup>24</sup>.

Прорвавшись в академию, Хрущев начал активную борьбу с правыми. Для этого у него были и политические, и личные причины. Те, кто смотрел на него свысока, представлялись ему, как он говорил позже, неустойчивыми и нежелательными элементами, которые «не особенно-то хотели учиться, но в силу сложившихся политических условий вынуждены были оставить партийную, хозяйственную или профсоюзную деятельность. Вот они и расползались по учебным заведениям». Согласно Хрущеву, они не пользовались теми возможностями, в которых пытались отказать ему: «Правые свили себе там гнездо, окопались там... У нас

было два выходных — воскресенье, как обычно, для всех, и еще один день для проработки пройденного. Я жил в общезжитии и наглядно видел эту “проработку”. Все уходило куда-нибудь с утра, а приходили — не знаю когда, просто бездельничали... В Промышленной академии училось немало бездельников, которые пришли туда не учиться, а отсидеться в период острой политической борьбы»<sup>25</sup>.

В отличие от этих «лодырей», Хрущев, по его собственным словам, очень хотел учиться — только вот времени не было, ни тогда, ни потом:

«Помню, как-то Молотов спросил меня:

— Товарищ Хрущев, вам удастся читать?

— Товарищ Молотов, очень мало, — отвечаю я.

— У меня тоже так получается. Все засасывают неотложные дела, а ведь читать надо. Понимаю, что надо, но возможности нет.

И я тоже понимал его. С каким трудом я вырвался, придя из Красной Армии в 1922 году, учиться на рабочем факультете! Но и там я и учился, и работал одновременно, был активным политическим деятелем... Партруководители тогда... не могли жить для себя. Если кто-то увлекался литературой, то его даже упрекали: вместо того чтобы работать, читаешь. Помню, как-то Сталин сказал: “Как же это случилось так, что троцкисты и правые получили привилегию? Центральный Комитет им не доверяет, сместил их с партийных постов, и они устремились в высшие учебные заведения... А люди, которые твердо придерживались генеральной линии и занимались практической работой, не имели возможности получить высшее образование, повысить свой уровень знаний и свою квалификацию...”»<sup>26</sup>

В этих воспоминаниях тяга к знаниям смешана со жгучей, ядовитой завистью к интеллектуалам: опасное сочетание, если дать ему ход! Повторяя жалобы и обвинения молодых людей, подобных Хрущеву, Сталин, конечно, действовал как хороший психолог — и только. Однако заявления Хрущева, что у него не оставалось времени на книги, тоже нуждаются во внимательном «прочтении». Он не был уверен в своей способности к высокоинтеллектуальным видам деятельности и потому, возможно, на подсознательном уровне приветствовал разнообразные обязанности, отвлекавшие его от книг и учебы. В Промакадемии, как и на юзовском рабфаке, он с увлечением занялся политической деятельностью, отвечавшей его неугомонной натуре; но не исключено, что этим он еще и защищал себя и заранее компенсировал возможные неудачи в учебе.

Среди прочих предметов в академии изучали иностранный язык: студенты должны были выучить его настолько, чтобы уметь читать простой текст (200—300 слов). Хрущев, возможно, под влиянием Нины Петровны, выбрал английский. Его преподавательница, Ада Федерольф-Шкодина, вспоминала, как искала статью в английском журнале, переделывала ее, убирая наиболее сложные пассажи, выписывала трудные слова вместе с переводом на доске и просила учеников читать текст вслух. Хрущев, рассказывала она, был слишком увлечен политикой, чтобы вдаваться в премудрости латинского алфавита, и скоро вовсе перестал ходить на занятия. По окончании курса директор академии стал просить поставить ему пятерку или хотя бы тройку. Федерольф-Шкодина отказалась (заметив, что Хрущев «ни единой буквы» на ее занятиях не выучил) и вместо этого предложила просто убрать из диплома иностранный язык — мол, в партийных кругах этого упущения все равно никто не заметит.

«Есть для меня сейчас вещи поважнее английского!» — сказал ей однажды Хрущев<sup>27</sup>. Однако, как вспоминала она, курс древней истории также к «важным вещам» не относился. Несколько лучше учился Хрущев по техническим предметам (он не относился к тем студентам, которые полагали, что диаметр взвешивают). Однако преподаватели отличали его не по успехам в учебе, а по тому, что говорил он больше всех в классе и на переменах часто собирал вокруг себя в коридоре группки соучеников.

«Я его почти не видела [на занятиях], только в коридорах, там он любил шутить, — вспоминает Федерольф-Шкодина, — он очень хорошо рассказывал. Не на литературном языке. Если в углу где-нибудь был хохот, значит, там Хрущев. Он был умница, знаете, есть такое выражение: крестьянская смекалка, когда у человека нет образования и надо до всего самому доходить, все решать самому. В этом есть провинциальность, и это было у Хрущева — смекалка, но не было образования, и это его погубило. Компания, которая его окружала, все были члены партии, они ему немножко льстили, а за глаза смеялись»<sup>28</sup>.

Уже гораздо позже, по словам его зятя, Хрущев «порой откладывал книгу, задумывался и возвращался мыслями в прошлое. Он сожалел о том, что не окончил Промакадемию, да и вообще с учебой ему не везло. Другие обязанности всегда отрывали его от занятий»<sup>29</sup>.

Так Хрущев объяснял это сам себе. Удавалось ли ему себя убедить — другой вопрос. В отличие от многих соучеников, у него была в общежитии (улица Покровка — одно время

Чернышевского — дом 40, впоследствии — гостиница «Урал») отдельная комната. А когда к нему присоединилась Нина Петровна с детьми, комнаты стало две. Она вспоминала: «У нас было две комнаты в разных концах коридора. В одной спали мы с маленькой Радой, в другой Юля, Леня и Матреша — няня, найденная Н. С. к нашему приезду»<sup>30</sup>.

Сама академия располагалась на Новой Басманной, и от общежития до здания академии ходил трамвай. Хрущев ходил на занятия пешком. «Я не пользовался трамваем», — рассказывал он. Возможно, Хрущев все еще не доверял общественному транспорту — или же ему просто не улыбалось толкаться в переполненном вагоне среди «народных масс», от которых он с таким трудом оторвался<sup>31</sup>.

Вследствие своего месторасположения и особой роли академия находилась под пристальным вниманием Кремля. Резолюции заседаний парторганизации академии публиковались в «Правде» как образец партийной работы для учебных заведений по всей стране. В апреле 1930 года Сталин произнес здесь речь, в которой призывал партийных лидеров усилить борьбу с правыми<sup>32</sup>. Стоит добавить, что молодая жена Сталина, Надежда Аллилуева, тоже училась в академии (на текстильном отделении), и в ее переписке можно найти немало упоминаний об академии и ее делах<sup>33</sup>.

Для такого амбициозного человека, как Хрущев, повышенное внимание властей к партийной жизни академии было просто даром свыше. «В этой борьбе моя роль резко выделялась в том коллективе, — вспоминал он позднее, — и все это было на виду у Центрального Комитета. Поэтому всплыла и моя фамилия как активного члена партии, который возглавляет группу коммунистов и ведет борьбу с угловцами, рыковцами, зиновьевцами и троцкистами в Промышленной академии»<sup>34</sup>.

Эта борьба разгорелась осенью 1929 года. 4 сентября студент по фамилии Воробьев признался на заседании партячейки, что поддерживает Бухарина и других, разделяющих его взгляды. Позже в том же месяце партячейка академии вместе с Бауманским бюро райкома осудила то, что в то время называлось «антипартийной работой правых», и потребовала от вышестоящих властей принять меры. 4 ноября, когда первый секретарь Бауманского райкома А. П. Ширин потребовал от партячейки академии удвоить бдительность, мы впервые встречаем в протоколах заседания партячейки реплику Хрущева. Его выступление поражает своим воинст-

венным тоном: «Правые создали вокруг Воробьева атмосферу заговора. В конце концов ячейка приняла “мудрое” решение исключить Воробьева из академии. Но все остальные [правые] остались!!! Настало время выбрать такое [парт]бюро, которое не допустит никакой лжи и искажений вокруг политических вопросов»<sup>35</sup>.

Очевидно, новое бюро должно было включать в себя самого Хрущева. Однако на этот раз «справедливость» не восторжествовала. Кандидатура Хрущева была отвергнута, и не один, а несколько раз. Разумеется, он клеймил ренегатами «правых» и «левых» всех сортов — а позже утверждал, что даже «не помнит», в чем между ними разница. «Правые, оппозиционеры, право-левацкий блок, уклонисты — все они, в сущности, двигались в одном направлении, а наша группа была против них»<sup>36</sup>.

Правые в академии были ободрены как сталинской статьей «Головокружение от успехов», так и отставкой (весной 1930 года) московского партийного руководителя Карла Баумана, ставшего козлом отпущения за эксцессы сталинизма. В мае они сумели даже избрать своих единомышленников на районную партконференцию. 25 мая сотрудники Бауманского райкома сообщили Кагановичу и редактору «Правды» о махинациях правых в академии. В тот же вечер в общежитии академии зазвонил телефон: попросили Хрущева.

«Это было редкостью, потому что в Москве я ни с кем никакого знакомства не имел», — рассказывает Хрущев (по этому замечанию можно судить, как мало его интересовало что-либо, кроме политики). Звонил Лев Мехлис — человек, фанатично преданный Сталину, в свое время политический секретарь вождя, а ныне член редколлегии «Правды» (впоследствии он информировал своего бывшего хозяина о «врагах народа» в Красной Армии). По рассказу Хрущева, Мехлис попросил его немедленно приехать в редакцию и прислал за ним машину. У себя в кабинете Мехлис предложил Хрущеву подписать письмо, написанное от лица студентов академии и разоблачающее «махинации» правых по избранию своих делегатов на районную партконференцию. По словам Хрущева, он сперва заколебался, поскольку «его тогда там не было» и даже автора он не знал, — но в конце концов подписал. «А назавтра вышла “Правда” с этой корреспонденцией. Это был гром среди ясного неба. Забурлила Промышленная академия, были сорваны занятия, все партгруппорги требовали собрания... На нем-то меня и избрали в президиум, и я стал председателем собрания... Избрали новых делегатов, в том числе и меня, на районную партийную конференцию»<sup>37</sup>.

Этот эпизод стал проверкой. Не так уж важно, в самом ли деле Хрущев не сразу решился подписать письмо, или срок лет спустя услужливая память преподнесла ему этот случай в более благоприятном свете; важно, что свою подпись он поставил. Секретарь партячейки академии А. Левочкин заявил, что публикация в «Правде» абсолютно неверно освещает нашу политическую линию, «очерняя ее с самого начала». Два дня спустя его место занял Хрущев<sup>38</sup>.

Под руководством Хрущева партийная ячейка почти перестала обсуждать вопросы, связанные с учебой. Вместо этого на заседаниях клеймили «правых», исключали их из партии и выбрасывали из академии. У обвиненных давлением вымогали признания. Хрущев охотно верил слухам и прямой клевете, но не желал верить оправданиям, которые предлагали обвиняемые в свою защиту. Многие годы спустя он настаивал, что в то время (в отличие от последующих кровавых чисток) все решалось «в дискуссиях и при голосовании»<sup>39</sup>. Однако атмосфера, в которой проходили эти дискуссии, была уже сродни атмосфере тридцатых.

11 июня 1930 года некий И. П. Берзин, бывший партийный лидер одного из районов Подмосковья, признался, что в прошлом считал, «что Бухарина... исключать из ЦК нецелесообразно». Теперь он пришел к выводу, что в то время «глубоко был неправ». Поначалу Хрущев удовлетворился этим признанием — но вспомнил о нем, как только Берзин осмелился выступить против самого Хрущева: «В ответ на оглашенное товарищем Хрущевым заявление, что якобы я веду на швейной фабрике фракционную работу и что брат у меня бывший белый офицер, с которым поддерживаю связь, категорически отрицаю и заявляю, что это наглая ложь»<sup>40</sup>.

Обвинение Хрущева в самом деле было возмутительно, пусть даже в то время (в отличие от конца тридцатых) оно не грозило обвиненному смертью. Более того, Хрущев тут же обесценил признание, полученное от Берзина, добавив: «Надо подчеркнуть, что этого признания мы от него добились только под большим давлением»<sup>41</sup>.

Другого студента, Мухитдинова, Хрущев обвинил в распространении контрреволюционных слухов, оскорблении руководителей партии и правительства, в том, что он был уволен с завода за хулиганство и исключен из Свердловского университета за троцкизм, а также в некоторых других грехах — все по сообщениям соучеников Мухитдинова<sup>42</sup>. Как и Берзин, Мухитдинов нашел в себе мужество протестовать: «Хрущев неправильно очернил и оклеветал меня. Заявления о моих нападках на товарища Сталина — наглая ложь». Но

другие члены партийной ячейки поспешили на помощь своему новому лидеру: один даже обвинил Мухитдинова в том, что тот, «видите ли, требует доказательств своей вины». Сам же Хрущев несколько дней спустя заклеил Мухитдинова «правым оппортунистом, [который] начал с несогласия с политикой партии в области коллективизации... и кончил распространением контрреволюционных слухов о восстаниях на Северном Кавказе [имеются в виду крестьянские волнения в Аджарии]». Согласно Хрущеву, Мухитдинов допускал выпады «против ЦК партии и вождя партии т. Сталина» и потому должен быть исключен из партии и из академии «как неисправимый уклонист»<sup>43</sup>.

Настойчивость Хрущева в преследовании «уклонистов» скоро обеспечила ему восторженные панегирики на заседаниях партячейки. Он допускал одну-единственную ошибку — порой бывал «большим сталинистом, чем сам Сталин», из тактических соображений проявлявший временами демонстративную мягкость к своим врагам. Так, 20 ноября 1930 года партбюро академии под руководством Хрущева приняло резолюцию о недоверии к «покаянию» Бухарина, а 22 ноября «Правда» отозвалась о том же «покаянии» куда более мягко. Получился конфуз: бюро пришлось собраться повторно и принять новую резолюцию, на этот раз написанную самим Хрущевым: «Данная в постановлении прошлого собрания оценка заявления т. Бухарина — неправильна, это является политической ошибкой левацкого характера. Собрание эту характеристику отменяет»<sup>44</sup>.

Несмотря на такие промахи, Хрущев чувствовал себя на коне. «Академия играла ведущую роль в борьбе с правыми, — вспоминал он позднее. — После этого моя фамилия стала еще более известна в Московской партийной организации и в Центральном Комитете». Собственно, она стала настолько хорошо известна, что скоро Хрущев занял место первого секретаря Бауманского райкома, сменив на этом посту Ширина, который всего год назад голосовал против него. «Он был политически недостаточно зрелым, и, видимо, у него имелись еще какие-то свои соображения»<sup>45</sup>. Теперь все препоны были позади: Хрущева ожидало блестящее будущее.

XVI съезд партии состоялся в июне-июле 1930 года. Официальным делегатом Хрущев не был, но получил от ЦК гостевой пропуск<sup>46</sup>. Однако, возглавив Бауманский райком, Хрущев вообразил, что Сталин лично следит за его продвижением.

В этом убедило его присутствие в академии Надежды Аллилуевой. По воспоминаниям всех, кто ее знал, Аллилуева была простой, скромной, доброжелательной женщиной. На текстильное отделение Промакадемии она поступила в 1929 году, имея уже двух детей — Василия и Светлану, — и специализировалась на проблемах создания искусственного волокна.

Аллилуева не афишировала свое родство со Сталиным, но, став секретарем партячейки, Хрущев, конечно, об этом узнал<sup>47</sup>. Хрущева восхищало то, что она «в академию приезжала только на трамвае, уходила вместе со всеми и никогда не вылезала как “жена большого человека”»<sup>48</sup>.

Аллилуева была парторгом академической группы и часто заходила к Хрущеву, чтобы согласовать с ним свои действия. Не раз он спрашивал себя: «Она, придя домой, расскажет Сталину, и что он скажет?» Уже позднее, став заместителем Кагановича, Хрущев однажды был приглашен на ужин на дачу Сталина и немало изумился, обнаружив, как много известно вождю о его деятельности в академии.

«Я смотрел и недоумевал, — рассказывал Хрущев позднее, — откуда он знает? Потом понял, откуда он знает некоторые эпизоды из моей жизни. Видимо, Надежда Сергеевна подробно информировала его о жизни нашей партийной организации и о моей роли как ее секретаря, представив меня в хорошем свете»<sup>49</sup>.

Во время написания мемуаров Хрущев отзывался об Аллилуевой с большой симпатией. «Цветущая, красивая такая женщина была!»<sup>50</sup> — восклицает он. Это очень понятно, особенно в свете ее трагической гибели. В 1932 году, в день пятнадцатой годовщины Октябрьской революции Сталин и его жена, по рассказам очевидцев, поссорились на праздничном ужине. Сталин, как рассказывают, грубо обругал ее и бросил ей в лицо зажженную папиросу (по другим свидетельствам — скатанный в шарик хлебный мякиш); а позже в тот же вечер, узнав, что он уединился у себя на подмосковной даче с другой женщиной, Надежда Сергеевна застрелилась<sup>51</sup>.

Могла ли эта интеллигентная, тонко чувствующая женщина расхваливать мужу простого и грубоватого Хрущева? Возможно, все было ровно наоборот. Если, как можно судить по некоторым свидетельствам, многие стороны политики Сталина пугали его жену, не исключено, что она сожалела о травле правых, которую развернул Хрущев в стенах академии. Можно предположить, что жалобы Аллилуевой на Хрущева сделали то, чего не могли бы сделать ее похвалы, — заставили Сталина проникнуться к нему доверием<sup>52</sup>.

В 1930 году Москва делилась на десять районов, из которых Бауманский был самым маленьким. Наиболее важную и почетную позицию в городе занимал большой Краснопресненский район. При централизованном советском режиме районное начальство имело мало власти по сравнению с городским. Однако первые секретари райкомов надзирали за всем, что происходило на вверенной им территории — от выполнения экономического плана до политических «чисток». В конце двадцатых — начале тридцатых работа районных властей была крайне неблагоприятной: на них ложилась ответственность за невыполнение огромных, невыполнимых пятилетних планов, а хаотическое переплетение ответственности и обязанностей стесняло их работу.

Эта неблагоприятная работа была словно создана для Хрущева. Благодаря сверхжестким требованиям любой успех здесь казался триумфом, а запутанная бюрократическая система руководства позволяла ему во все вмешиваться и всем руководить, выигрывая благодаря неистощимой энергии и напору. Кроме того, здесь он смог развернуться как мастер «чисток». В народных комиссариатах торговли и железнодорожного транспорта, в Объединении профсоюзов нефтяников, в Колхозном центре — везде открывались «факты оппортунистической практики и теории». На почве «политической близорукости и зажима самокритики» бауманские партийные власти аннулировали результаты выборов во Всесоюзную плановую комиссию, разгромили партбюро в Институте нитрогена и Московском меховом тресте, а также потребовали новых выборов партбюро в издательстве «Молодая гвардия», заявив, что старое бюро «не реагировало на издание идеологически вредных книг»<sup>53</sup>.

Не забыл Хрущев и своей старой вражды с «правыми» из Промакадемии. «Когда были разработаны указания по чистке [академии], — рассказывал он на районной партконференции в январе 1931 года, — они заявили, что эти указания направлены против лучшей части партии, что после чистки в академии останутся только стопроцентные лакеи». В ответ Хрущев обвинил «правых» в желании «отсидеться в болоте»<sup>54</sup>, поджидая благоприятного момента.

Свести счеты с врагами из Промакадемии оказалось проще простого. А вот в руководстве экономикой Хрущев далеко не так преуспел: выполнение пятилетнего плана Бауманский район безнадежно провалил. Однако такие далеко не блестящие результаты не остановили продвижения Хрущева наверх.

Следующая остановка: Краснопресненский район — район с богатой революционной историей, оваянной романти-

кой баррикадных боев. Управлять им было почетно; среди других первый секретарь Краснопресненского райкома рассматривался как «первый среди равных»<sup>55</sup>. На городском партбюро, где Хрущев был выбран на эту должность, его попросили сказать несколько слов.

«Вел бюро Каганович, — вспоминала Е. Г. Горева, в то время секретарь московского женотдела. — Хрущева попросили кратко рассказать свою биографию. Или он сильно волновался, либо еще почему, говорил Никита Сергеевич запинаясь, зачастую неправильно произнося слова. “Неужели нельзя было для Красной Пресни найти элементарно грамотного человека?” — тихо обратилась я к одному из своих соседей по столу. Вижу — председательствующий грозит мне пальцем, видимо, чтобы не разговаривала. После того как бюро закончилось, кандидатуру Хрущева утвердили, Каганович подозвал меня к себе. “Я все слышал, — бросил он весьма сурово. — Если хочешь, чтобы кресло осталось под тобой — помалкивай!”»<sup>56</sup>

Это был не единственный неудачный дебют Хрущева. Первая его торжественная речь в качестве секретаря Краснопресненского райкома так затянулась, что слушатели начали указывать ему на часы; он столько говорил об экономике, что произвел впечатление «технократа», а главное, имел неосторожность заявить, что лишь с приходом на руководящий партийный пост в Москве Кагановича были преодолены «все перегибы, искривления и извращения» и «взята верная линия». Очевидно, Хрущев позабыл, что предшественником Кагановича на этом посту был не кто иной, как Вячеслав Молотов, ближайший сподвижник Сталина, ныне занимавший пост главы правительства СССР<sup>57</sup>.

Оба эпизода ясно показывают, что мешало Хрущеву в его продвижении вверх. Однако он хорошо справлялся с новой работой, вполне оправдывая свое назначение. В экономическом отношении Краснопресненский район был более развит, чем Бауманский. Заседания партбюро райкома были посвящены вопросам управления производством и строительством, обеспечения заводов сырьем, пищевых поставок. Хрущев мобилизовал весь район на выполнение плана и прием в партию новых членов. Он организовал около двадцати тысяч рабочих в «ударные бригады», работавшие согласно так называемой «прогрессивке» — системе, предполагавшей минимальную оплату за определенный объем работы, а затем прогрессивно растущие премии за увеличение объема.

Для Хрущева и его коллег «не было таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Даже русский исто-

рик, враждебный Хрущеву, не может сдержать восхищения его краснопресненскими успехами. Хотя речь Хрущева на районной партконференции в январе 1932 года и содержала привычные инвективы в адрес уклонистов всех мастей — по большей части, пишет он, доклад напоминал «отчет добросовестного, знающего свое дело хозяйственника»<sup>58</sup>.

Руководство Бауманским, а затем Краснопресненским районами стало для Хрущева важной ступенькой карьерной лестницы; однако настоящий поворот совершился, когда Хрущев стал заместителем Кагановича. Поскольку последний занимал одновременно три важных поста (первый секретарь Московского горкома и обкома и заместитель Сталина в ЦК), управление Москвой фактически легло на Хрущева. Стоит отметить, что по понятным причинам партийное и советское руководство Москвы пользовалось особым вниманием Сталина (не случайно Московский горком партии располагался на Старой площади рядом с Секретариатом ЦК).

С этих пор мнение Хрущева о том, что Сталин следит за каждым его шагом, превратилось из фантазии в реальность. Учебу пришлось бросить окончательно, и от этого Хрущев чувствовал себя особенно уязвимым: «Это требовало огромного напряжения сил, если учесть, что соответствующих знаний и опыта у меня не было»<sup>59</sup>.

«Поражает быстрый рост Хрущева, — записывает в своем дневнике один из московских чиновников. — В Промакадемии он учился кое-как — а теперь стал вторым секретарем при Кагановиче! Это при том, что он тупица чистой воды — только и умеет, что подлизываться к начальству»<sup>60</sup>.

Тупицей Хрущев не был. Однако предстоящие ему задачи могли бы смутить и более образованного и разностороннего человека. В столице строились новые предприятия, расширялись и переоборудовались старые. Она превращалась в огромный оборонно-научно-индустриальный комплекс. Москва, став гигантской стройкой (только в 1931 году встали в строй сто новых заводов и фабрик, а к концу первой пятилетки были перестроены еще триста), наводнилась приезжими из сельской местности: 411 тысяч новых жителей (увеличение на 15 %) в 1931 году, 528 тысяч, то есть почти полторы тысячи в день — в 1932-м, а за весь период с 1928 по 1932 год — прирост на полтора миллиона человек, или на 70 %. Обеспеченность жильем и бытовыми услугами не поспевала за хаотическим ростом населения.

Переполненная людьми, изрытая канавами и траншеями, гудящая от грохота отбойных молотков и рычания экскаваторов — такой была Москва, над которой взял шефство Хрущев. Неудивительно, что во время своего первого выступления на Политбюро он заметно нервничал. Московские рабочие, о которых Сталин всегда выказывал особую заботу, в 1932 году буквально голодали, и вождь, неусыпно заботившийся о благе трудящихся, «выдвинул идею» заняться кролиководством. Естественно, Хрущев «с большим рвением проводил в жизнь указание Сталина... Каждая фабрика и каждый завод там, где только возможно, и даже, к сожалению, где невозможно, разводили кроликов. Потом занялись шампиньонами: строили погреба, закладывали траншеи. Некоторые заводы хорошо поддерживали продуктами свои столовые, но всякое массовое движение, даже хорошее, часто ведет к извращениям... Не все директора поддерживали их... При распределении карточек с талонами на продукты и товары было много жульничества. Ведь всегда так: раз карточки, значит, недостача, а недостача толкает людей, особенно неустойчивых, на обход законов».

Каганович предложил Хрущеву выступить на Политбюро и доложить о мерах по исправлению ситуации. «Это меня очень обеспокоило и даже напугало, — вспоминал позднее Хрущев. — Выступать на таком авторитетном заседании, где Сталин будет оценивать мой доклад!»

Доклад прошел неудачно. Обычная стратегия Хрущева — говорить вождям то, что они хотят услышать, — была вполне оправдана; Сталин часто верил хорошим новостям, даже если они расходились с истиной. Однако в московской жизни Сталин разбирался, о проблемах с кроликами и карточками был хорошо осведомлен и сразу понял, что Хрущев приукрашивает действительность.

— Не хвастайте, не хвастайте, товарищ Хрущев, — проворчал он. — Много, очень много осталось воров, а вы думаете, что всех выловили.

Нетрудно представить, с какими улыбками и смешками начали переглядываться члены Политбюро при этих словах. Сталин высмеял Хрущева, но высмеял добродушно, так, что это не унизило, а, скорее, подбодрило его. «На меня это сильно подействовало: действительно, я посчитал, что мы буквально всех воров разоблачили, а вот Сталин хоть и не выходил за пределы Кремля, а видит, что жуликов еще много. По существу, так и было. Но то, как именно он подал реплику, понравилось мне очень: в таком родительском тоне. Это тоже поднимало Сталина в моих глазах»<sup>61</sup>.

Хрущев упорно работал над собой, стараясь преодолеть свои недостатки. «Приходилось брать усердием и старанием, затрачивая массу усилий»<sup>62</sup>, — говорил он позднее. Как рассказывал Эрнест Кольман, в то время работавший с Хрущевым, «он восполнял (не всегда удачно) пробелы в своем образовании и общекультурном развитии интуицией, импровизацией, смекалкой, большим природным дарованием»<sup>63</sup>.

Протоколы заседаний Московского горкома за 1933 год полны обсуждений повседневных вопросов, от развития промышленности до организации путевок для работников секретариата<sup>64</sup>. По словам Хрущева, это был «период большого подъема в партии и по стране... Именно на мою долю как второго секретаря горкома партии, а фактически первого, поскольку Каганович был очень загружен по линии ЦК, приходилось все это строительство... Москва того времени уже была крупным городом, но с довольно отсталым городским хозяйством: улицы неблагоустроены; не было должной канализации, водопровода и водостоков; мостовая, как правило, булыжная, да и булыга лежала не везде; транспорт в основном был конным. Сейчас страшно даже вспомнить, но было именно так»<sup>65</sup>.

В 1936 году Эрнест Кольман стал секретарем горкома, курировавшим науку. Его отдел, в котором не было ни одного ученого, надзирал за деятельностью сотен научно-исследовательских институтов. «...Нужны были энциклопедические знания, такие, какими никто из нас не обладал, — вспоминал Кольман, — да в наше время никто обладать и не может. Как и всюду тогда, работали мы не только днем, но и по ночам, до рассвета, но я убежден, что не с большой пользой, а отчасти даже с вредом для дела». Сложилась парадоксальная ситуация: интеллектуальной жизнью Москвы руководили люди, глубоко не сведущие в науке и культуре — Каганович и Хрущев. Однако о них обоих Кольман вспоминал с теплотой, по крайней мере в этот период: «Оба они перекипали жизнерадостностью и энергией — эти два таких разных человека, которых, тем не менее, сближало многое. Особенно у Кагановича была прямо сверхчеловеческая работоспособность... Каганович был склонен к систематичности и даже теоретизированию, Хрущев же к практицизму, к техницизму. Помнится, как мы с Хрущевым посетили в Политехническом музее выставку новейших советских изобретений, когда он, как ребенок, восхищался “говорящей бумагой” — подобием магнитофонной ленты, на которую мы оба что-то наговорили, а пришедшая с нами Катя [жена Кольмана] пропела какую-то песенку».

Ни Хрущев, ни Каганович, если верить Кольману, не бы-

ли «испорчены властью». «Оба они... были по-товарищески просты, доступны, особенно Никита Сергеевич, эта “русская душа нараспашку”, не стыдившийся учиться, спрашивать у меня, своего подчиненного, разъяснений непонятных ему научных премудростей».

Однажды Кольман упомянул о словах Ленина, как-то предложившего план подземной газификации угля. Хрущев, со своим всегдашним стремлением решать экономические проблемы путем технических находок, «загорелся этой идеей. Он решил направить меня в Донбасс, чтобы я ознакомился там с ведущимися опытами по газификации с тем, чтобы перенести их в Подмоскowie. Хотя я протестовал, предлагая, чтобы этим занялся специалист-горняк, Хрущев настоял». Кольман вместе с женой отправился в Донбасс, провел необходимые исследования на земле и под землей и, вернувшись домой, сообщил, что не обнаружил в Донбассе (как он писал позднее) «ничего особенно утешительного». Не вняв его предупреждениям (еще одна характерная черта), Хрущев приказал организовать такое же производство в Подмоскowie.

В другой раз Кольман сопровождал Хрущева и двух высокопоставленных военных при осмотре секретной военной базы под Можайском. Здесь, в глухом лесу, под надежной охраной, стоял «деревянный сарай тридцати или сорока метров в длину, без окон, но ярко освещенный». В одном конце ангара размещался громоздкий научный прибор, в другом — клетка с большой крысой. Когда изобретатель повернул рычаг, «бедная крыса свалилась набок и, вытянув лапки, навсегда замерла. Изобретатель пояснил довольно невнятно, что это подействовал какой-то дзета-луч на сердце животного. На пристрастные расспросы Никиты Сергеевича он признал, что, для того чтобы радиус лучей увеличить до трех-четырех километров, потребовалось бы затратить в десять тысяч раз больше энергии, а следовательно, для военных целей они пока не пригодны»<sup>66</sup>.

Скорее всего, добавляет Кольман, их пытались обмануть, а крыса погибла от обыкновенного электрошока. Надо заметить, что позднее, будучи уже главой Советского государства, в отношениях с военными Хрущев не раз проявлял самостоятельность и неуступчивость; однако перед высокими технологиями он никогда не мог устоять. Увлечение фантастическими техническими проектами стало оборотной стороной его грубого антиинтеллектуализма: в том и в другом отражалось противоречивое отношение к высшему образованию, которое, по уверениям Хрущева, вечно от него ускользало — хотя скорее уж сам он от него ускользал.

Важнейшим и грандиознейшим из строительных проектов, за выполнение которых отвечал Хрущев, был Московский метрополитен, ставший своеобразным символом сталинской Москвы. Метрополитен должен был стать лучшим и самым дорогим в мире — не потому, что в этом нуждались жители (если бы правительство заботилось только о нуждах москвичей, разумнее было бы улучшить наземные коммуникации, а сэкономленные средства направить на развитие жилищного строительства и коммунальных служб), а ради престижа страны. На случай войны тоннели и станции метро делались беспрецедентно глубокими — чтобы их можно было использовать как бомбоубежища. В то же время метрополитен должен был стать символом пути в будущее, и ради создания этого символа никакая цена не казалась слишком высокой. Только в одном 1934 году на строительство метро было затрачено 350 миллионов рублей (при 300 миллионах, затраченных на производство товаров народного потребления за всю первую пятилетку); станции возводились из мрамора, бронзы, других дорогих материалов (в том числе изъятых из соборов и разрушенных храмов), украшались скульптурой, мозаикой и витражами<sup>67</sup>.

Работы по строительству метро начались еще в 1931 году, однако только при Хрущеве развернулись в полную силу. 7 ноября 1934-го, в годовщину революции, должна была вступить в строй первая линия московской «подземки». Опыт, полученный в юзовских шахтах, помог Хрущеву оценить преимущества закрытых тоннелей по сравнению с открытыми<sup>68</sup>. Однако, «когда решался вопрос об этом, — рассказывал он позднее, — мы очень слабо представляли себе, что это за строительство, были довольно наивны и смотрели на это как на нечто чуть ли не сверхъестественное. Сейчас гораздо проще смотрят на полеты в космос, чем мы тогда — на строительство в Москве метрополитена»<sup>69</sup>.

Несмотря на свое невежество (или, возможно, благодаря ему), в работе Хрущев шел на отчаянный риск. Вместе с главой Моссовета Николаем Булганиным он безжалостно эксплуатировал рабочих-метростроевцев, заставляя их работать по сорок восемь часов без отдыха и не обращая внимания на предупреждения инженеров о том, что тоннели могут обрушиться, увлекая за собой наземные постройки. На стройке нередко были несчастные случаи — подземные пожары и наводнения; в прессе о них писали лишь как о демонстрации героизма на службе великой цели<sup>70</sup>.

Хрущев не жалел не только других, но и себя. «Собственно говоря, — вспоминал он, — я 80 % своего времени отда-

вал тогда метрополитену. И на работу в горком, и с работы ходил через шахты метро. Какой у нас реально был рабочий день, сказать просто трудно. Я вообще не знаю, сколько мы спали. Просто тратили минимум времени на сон, а все остальные часы отдавали работе, делу»<sup>71</sup>.

К ноябрю 1934 года достроить первую линию не удалось; зато 1 мая 1935 года пустили первые поезда — от Сокольников до Парка Культуры и от улицы Коминтерна (затем — Калинина) до Киевского вокзала. Хрущев сам ехал на первом поезде вместе с Кагановичем, чье имя получил метрополитен. Прочитируем воспоминания одного из инженеров-метростроителей: «В жизни каждого человека бывают особенно памятные дни. В такие дни все, что казалось тебе давно знакомым, вдруг предстает в новом свете. Ощущаешь любовь к тому, что прежде воспринимал как должное. Таким днем для меня стал день, когда со мной заговорил товарищ Хрущев»<sup>72</sup>.

За заслуги в деле строительства метрополитена Хрущев был награжден орденом Ленина. Один из московских электротехнических заводов получил его имя, а к списку его должностей добавился пост первого секретаря Московского обкома. О том, что означал для него орден Ленина, лучше всего сказал сам Хрущев: «Это был мой первый орден... У меня был орден Ленина с номером где-то около 110. За пять лет только 110 человек получили орден Ленина! Вот как он высоко ценился. Что ж, так и должно быть: чем больше ценится награда, тем лучше. Потом ордена Ленина начали раздавать направо и налево, и значение этого ордена понизилось»<sup>73</sup>.

Достаточно посмотреть кинохронику, запечатлевшую Хрущева в 1935 году, чтобы зримо представить его карьерный рост и возросшую уверенность в себе. Вот он инспектирует строительство нового моста через Москву-реку у станции метро «Киевская». Хрущев появляется в большом черном лимузине вместе со свитой функционеров. В длинном, темном, хорошо сшитом пальто (и с телохранителем из НКВД за спиной) он машет рукой собравшимся рабочим, широко улыбается и пожимает руки. Его приезд совпал с перекурром, и все стоят с папиросами — все, кроме пуританина Хрущева. Решительным шагом он проходит по мосту, раздавая направо и налево указания, затем садится в черный лимузин и уезжает, сопровождаемый свитой из еще нескольких черных машин.

В последний момент оператор снимает его крупным планом, фиксируя внимание на глазах — ярких, удивительно

живых и пронизательных. Много лет спустя взгляд Хрущева поразил друга его сына Сергея, в пятидесятых годах впервые встретившегося с отцом своего приятеля. Его изумил контраст между непрезентабельной фигурой Хрущева — и его живым, пронзительным взглядом. «Чтобы понять, как Хрущев достиг такой власти, достаточно было взглянуть ему в глаза»<sup>74</sup>.

Кадры кинохроники 1935 года рассказывают нам о визите Хрущева в московский детский сад номер 12, также носивший его имя. Он со своей свитой появляется в детсаду после дневного сна, когда дети уже одеты и пьют чай в чистой столовой. Хрущев и его помощники в белых толстовках: на нем — темный цивильный пиджак, на других — что-то вроде кителей. Хрущев осматривает детский стульчик, вертит его в руках, проверяя, как он сделан, затем берет в руки крохотный детский башмачок. При разговоре с детьми лицо «отца города» лучится заразительной улыбкой. А вот Хрущев выступает на собрании партийных активистов электролампового завода: «сталинский» френч, все та же улыбка, сияющая ярче любых электрических ламп, энергичные «дирижерские» жесты — сразу видно, что перед публикой Хрущев чувствует себя как дома. Во время произнесения речи он перекидывается со слушателями неформальными репликами и явно наслаждается этим состязанием в остроумии.

Однако не всегда все шло так гладко. Склонность Хрущева принимать решения, не подумав, иной раз доставляла ему неприятности. Так, начатая им кампания «стахановского труда» вызвала недовольство вышестоящего начальства, обвинившего его в «слепой погоне за рекордами»<sup>75</sup>.

В 1934 году Хрущеву передали просьбу позвонить по телефону, в котором он узнал домашний номер Сталина. Вождь хотел поговорить с ним об общественных туалетах. «До меня дошли слухи, — сказал Сталин, — что у вас в Москве неблагополучно обстоит с туалетами. Даже “по-маленькому” люди бегают и не знают, где бы найти такое место, чтобы освободиться. Создается нехорошее, неловкое положение. Вы подумайте с Булганиным о том, чтобы создать в городе подходящие условия»<sup>76</sup>.

В сносе старой Москвы роль Хрущева не была ведущей, однако он и не противился этому. «Мы рубим деревья, — говорил он на пленуме ЦК в 1937 году, — мы рубим там, где надо, чтобы перестроить город Москву, чтобы это была сто-

лица, а не деревня и чтобы покончить с мнением, что Москва — это большая деревня»<sup>77</sup>.

«Некоторые большевики, — добавлял он на городской партконференции в том же году, — проливают слезы и говорят: “Смотрите, что же вы сносите?!” Я бы сказал... такие вот слезы и рыдания мне очень напоминают героев “Вишневого сада”... Мы не можем ставить интересы людей, живущих здесь или там, выше интересов целого города»<sup>78</sup>.

Сталин поощрял презрение своих приспешников к старине, однако, когда его ушей достигали жалобы, легко сваливал всю вину на них. Однажды известный авиаконструктор Александр Яковлев был на приеме у Сталина и после обсуждения деловых вопросов у них завязался разговор. Сталин спросил, что говорят москвичи, и, видя, что вождь в хорошем настроении, Яковлев осмелился заметить, что люди недовольны уничтожением парков и зеленых аллей и говорят: «Это оттого, что вождь не любит деревьев». Сталин в ответ обвинил во всем Хрущева и Булганина. Он, мол, однажды указал им на какой-то неприглядный куст и заметил: «Такая зелень нам в городе не нужна... Но Хрущев и Булганин поняли мои слова по-своему, по пословице: “Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет”». Вот видишь, Молотов? — добавил он, обращаясь к стоящему рядом председателю. — Что они ни натворят, за все мы в ответе»<sup>79</sup>.

Вскоре после XVII съезда партии (1934 год), на котором Хрущев произнес речь, восхваляющую «нашего гениального вождя товарища Сталина» и заверяющую в «принципиальной, идеологической солидарности Московской партийной организации под умелым руководством Лазаря Моисеевича Кагановича»<sup>80</sup>, диктатор начал готовить новую кампанию против тех, кто осмеливался ему противостоять. 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит Киров<sup>81</sup>. Вскоре после этого, без консультаций с Политбюро, Сталин издал указ, ускоряющий следствие по делам, связанным с террористическими актами, и потребовал, чтобы смертные приговоры по таким делам выносились «незамедлительно»<sup>82</sup>. На основании этого указа было возбуждено множество дел о «контрреволюционных преступлениях», в том числе и не имеющих ничего общего с убийством Кирова; по большинству из них были вынесены смертные приговоры<sup>83</sup>. В январе 1935 года партийные организации получили секретное письмо ЦК, предписывавшее вычищать из партии замаскировавшихся оппозиционеров всех мастей. Следом началась волна арес-

тов, названная в лагерях «кировским потоком». Несколько десятков тысяч человек (в основном бывшие аристократы, купцы, чиновники и их семьи, но также и рабочие, и крестьяне) были выселены из Ленинграда, немного меньше — из Москвы<sup>84</sup>. Внутрипартийная чистка, проведенная в столице в 1935 году, закончилась исключением из партии 7,5 % партийцев — как бывших оппозиционеров, так и ничем не запятнанных коммунистов<sup>85</sup>.

В январе 1935 года Зиновьев, Каменев и еще семнадцать человек были арестованы по обвинению в создании «Московского центра», вовлеченного в убийство Кирова. Пока что все они были приговорены к тюремному заключению сроком от пяти до десяти лет. Период с июля 1935-го по август 1936 года стал «затишьем перед бурей». Именно в это время была принята новая советская конституция, написанная в основном Бухариным: в ней громогласно декларировались всевозможные права и свободы советских граждан. Тем временем Сталин тайно готовил новый суд над Зиновьевым, Каменевым и другими членами воображаемого «троцкистско-зиновьевского центра», на этот раз — на основании вымученных под пытками признаний в подготовке к убийству не только Кирова, но и самого Сталина.

Новый суд начался 19 августа 1936 года, в бело-голубом бальном зале Дворянского собрания, теперь известном как Октябрьский зал Дома союзов. Главный обвинитель Андрей Вышинский требовал «расстрелять этих бешеных собак — всех до единого». И все они были расстреляны, несмотря на то, что, вымогая у Зиновьева признание, Сталин лично обещал ему пощадить жизни самих «заговорщиков», их семей и сторонников<sup>86</sup>.

Перед, во время и после суда Хрущев с неизменным энтузиазмом поддерживал Сталина. Он призывал московских партработников «воспитывать в массах ненависть к врагу, ненависть к контрреволюционным троцкистам, зиновьевцам, ненависть к осколкам правых уклонистов и вместе с тем... любовь к партии большевиков, любовь к вождю и учителю товарищу Сталину»<sup>87</sup>. За три дня до окончания процесса он требовал для Зиновьева и Каменева смертной казни: «Всякий, кто радуется успехам нашей страны, достижениям нашей партии под руководством великого Сталина, найдет для продажных наймитов, фашистских псов из троцкистско-зиновьевской банды лишь одно слово: и это слово — расстрел»<sup>88</sup>.

В январе 1937 года начался следующий показательный процесс<sup>89</sup>. На этот раз Хрущев требовал крови в речи, которую слушали морозным утром на Красной площади около

двухсот тысяч москвичей: «Троцкистская клика — это банда шпионов и наемных убийц, диверсантов, агентов германского и японского фашизма. От этих троцкистских дегенератов исходит трупная вонь...» Страшнейшее преступление «Иуды-Троцкого и его банды» состояло в том, что они «подняли злодейскую руку на товарища Сталина... знамя всего прогрессивного человечества. Сталин — наше знамя! Сталин — наша воля! Сталин — наша победа!»<sup>90</sup>.

Зиновьев и Каменев дали показания на Бухарина и Рыкова: однако прежде чем судить и приговорить к смерти и этих бывших соратников, Сталин должен был изгнать их из ЦК. На пленуме ЦК в феврале 1937 года, хотя Бухарину и Рыкову не дали сказать ни слова в свою защиту, мнения тридцати шести членов комитета относительно их дальнейшей судьбы разделились: одни голосовали за суд (разумеется, с последующей казнью — в решении «независимого» суда никто не сомневался), другие предлагали более мягкие наказания<sup>91</sup>. Единственная зафиксированная речь Хрущева на этом пленуме касалась невинного вопроса — подготовки к предстоящим выборам<sup>92</sup>. Он не принадлежал к тем, кто прерывал Бухарина выкриками с места<sup>93</sup>, а при голосовании отдал голос за суд, но без предварительного утверждения смертного приговора<sup>94</sup>.

Чистки продолжались. На очереди стоял разгром высшего командования Красной Армии, включая талантливого военачальника Михаила Тухачевского, которого так недоставляло Советскому Союзу в первые месяцы Великой Отечественной войны. Сам Хрущев голосовал за включение в Московский партийный комитет наркома армии и флота Яна Гамарника. Неделию спустя, когда «Правда» заклеила Гамарника «троцкистским выродком», Хрущев заявил: теперь ему стало очевидно, что «враг хитро маскируется и умело скрывает свою подрывную работу...»<sup>95</sup>.

Отряды сталинских палачей направились в провинцию. Из всех первых секретарей только Андрею Жданову в Ленинграде, Берии на Кавказе и Хрущеву в Москве доверено было руководить чистками<sup>96</sup>. Как ни отвратительно было поведение партийных лидеров, науськивающих народ на своих бывших кремлевских коллег, делали они и кое-что похуже — заставляли обезумевших от страха партийцев доносить друг на друга. Именно так поступал Хрущев. «Это не открытая борьба, — предупреждал он делегатов на Московской городской партконференции в мае 1937 года, — это не фронт, когда пули летят с вражеской стороны, а это борьба с человеком, который с тобой рядом сидит, который восхва-

ляет успехи наши и достижения нашей партии и в это же время сжимает револьвер в кармане для того, чтобы выбрать момент и пустить тебе пулю, как они пустили в Сергея Мироновича Кирова». Такого предателя надо «сволторозить и хорошо набить ему морду»<sup>97</sup>, а потом добиться от него признаний «под давлением неоспоримых доказательств, собранных товарищами из НКВД»<sup>98</sup>.

«Нужно уничтожать этих негодяев! — гремел Хрущев в августе 1937 года. — Уничтожая одного, двух, десятков, мы делаем дело миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врага на благо народа!»<sup>99</sup>

Хрущев способствовал аресту и ликвидации собственных коллег и друзей. Из тридцати восьми руководителей Московской городской и областной партийных организаций выжили только трое. Из 146 партсекретарей других городов и районов Московской области были «репрессированы», выражаясь постсталинским эвфемизмом, 136. Из 63, избранных в мае 1937 года в Московский городской партийный комитет, погибли примерно 45. Из 64 членов обкома сгинули в кровавой мясорубке 46<sup>100</sup>.

Арестованы были двое личных помощников Хрущева, Рабинович и Финкель. Та же судьба постигла Семена Корытного, когда-то работавшего с Хрущевым в Киеве. То же случилось с человеком по фамилии Марголин — когда-то киевским помощником Хрущева, учившимся вместе с ним в Промакадемии, сменившим его на посту первого секретаря Бауманского райкома и работавшим его помощником в Московском горкоме. «Одним словом, — заключает Хрущев в своих воспоминаниях, — почти все люди, которые работали рядом со мной, были арестованы»<sup>101</sup>.

Процесс чистки требовал от Хрущева одобрения этих арестов. Региональные партийные руководители обязаны были утверждать взятие своих подчиненных под арест и вынесение им приговоров; вместе с главами местных отделений НКВД и прокурорами они образовывали так называемые «тройки», имевшие возможность выносить смертный приговор без права апелляции. Поначалу НКВД требовалось предварительное согласие партийных руководителей; затем, по всей видимости, чекисты начали выносить приговоры сами, а партийцы одобряли их задним числом<sup>102</sup>.

В некоторых случаях Хрущев играл и более значительную роль. Так, 27 июня 1937 года Политбюро установило «план»: в Москве и Московской области следовало арестовать не

менее 35 тысяч «врагов» и не меньше пяти тысяч из них расстрелять. Хрущев предложил в рамках этого плана ликвидировать две тысячи проживающих в Москве бывших кулаков<sup>103</sup>. 10 июля 1937 года он доложил Сталину, что в Москве и области арестована 41 тысяча 305 «преступных и кулацких элементов». В том же документе он требует расстрела для 8 тысяч 500 «врагов первой категории»<sup>104</sup>.

По словам историка, беседовавшего с теми, кто выжил, Хрущев ничего или почти ничего не предпринимал, чтобы помочь своим друзьям и коллегам спастись от лагерей и смерти<sup>105</sup>. Он помог дочери Рыкова Наталье, которой был 21 год, устроиться на работу в школу — однако позже, в 1938 году, когда Хрущева перевели на Украину, она была арестована и провела 18 лет в ГУЛАГе<sup>106</sup>. Когда арестовали зятя Кольмана, Хрущев попросил последнего уволиться, но сам нашел для него новую работу. Однако ни одного из своих даже ближайших и доверенных сотрудников он не спас ни от ареста, ни от расстрела<sup>107</sup>.

Молотов, Каганович и Ворошилов по мановению Сталина подписывали длиннейшие «расстрельные списки», сквозь зубы браня осужденных, чтобы угодить тирану<sup>108</sup>. Допустимо предположить, что списки Хрущева были короче и что он при этом не ругался<sup>109</sup>. Ему случалось инспектировать тюрьмы; можно предположить, что места расстрелов, политые кровью тысяч невинных жертв, оставались ему неизвестны. Однако вина его велика, хотя в своих воспоминаниях он и пытается это отрицать.

Хрущев признает, что однажды «бросил случайный взгляд» на работу НКВД изнутри. На Московской партконференции в мае 1937 года он выдвинул в члены комитета кандидатуру известного и уважаемого военного комиссара. Слушатели уже встретили предложение громовыми аплодисментами, как вдруг «перед самым голосованием раздался звонок... “Сделай все, чтобы не отводить этого комиссара прямо, а ‘проводить’ его, потому что мы его арестуем. Он связан с врагами. Это хорошо замаскировавшийся враг”... Тогда я собрал секретарей партийных комитетов и рассказал им, что имеются указания относительно комиссара... Комиссар не получил большинства и не был избран»<sup>110</sup>.

По такому же представлению от НКВД пришлось отвергнуть кандидатуру ветерана-большевика Емельяна Ярославского. «Мне это было очень тяжело», — но еще тяжелее, рассказывает дальше Хрущев, было ему получить от уважае-

мой старой большевички письмо с обвинениями в недостойном поведении по отношению к Ярославскому. «Потом я говорил с ней и объяснил ей, что это было указание ЦК»<sup>111</sup>.

Когда «был составлен список людей, подлежащих выселению из Москвы, — рассказывал позднее Хрущев, — я не знал, куда их выслали. И никогда не спрашивал. Мы работали так: если нам чего-то не говорят, значит, нас это не касается, это дела государственные, и чем меньше об этом знать, тем лучше»<sup>112</sup>.

На другой партконференции, где делегаты, надеясь спасти свою шкуру, сыпали обвинениями в измене и вредительстве, Хрущев зачитал суровую резолюцию. «Резолюция была ужасная, — рассказывал он позднее, — столько там было накручено в адрес врагов народа. Она требовала продолжать оттачивать нож и вести расправу (как теперь уже ясно, с мнимыми врагами). Не понравилась мне эта резолюция, но я был в большом затруднении: как же быть?» В это время, если верить его воспоминаниям, «мы и не знали, что арестованные уничтожаются, а считали, что они просто посажены в тюрьму и отбывают свой срок наказания»<sup>113</sup>.

Будучи кандидатом в члены Политбюро, Хрущев имел возможность читать поступающие в Политбюро документы. Однако, по его собственным словам, «я получал только те материалы, которые Сталин направлял по своему личному указанию. Эти материалы касались чаще всего “врагов народа”: их признания — целая кипа “признаний”, уже якобы проверенных и доказанных». Хрущев уверял, что не сомневался в истинности этих признаний. В конце концов, «их рассылал сам Сталин!»<sup>114</sup>

Однако легче всего понять, что знал и чего не знал Хрущев, на примере арестов его ближайших друзей. В предательство Зиновьева, Каменева и прочих далеких фигур поверить несложно; но Иона Якир и Семен Корытный? С генералом Якиром Хрущев подружился в Киеве. Они поддерживали связь и когда Хрущев переехал в Москву, поскольку сестра Якира была замужем за его коллегой Корытным. За несколько часов до ареста «Якир приехал в Огарево к сестре, — вспоминает Хрущев, — и мы с ним долго ходили по парку, беседовали»<sup>115</sup>.

Во время Гражданской войны Якир лично расстреливал белогвардейских офицеров<sup>116</sup>. Коллективизация и голод на Украине — во многом на его совести. Однако, когда НКВД начал аресты его ближайших сотрудников, Якир навещал их в тюрьме и осмелился даже открыто усомниться в их виновности<sup>117</sup>. Это добавило его имя к списку обреченных.

Нетрудно представить, что испытывал Якир в мае 1937 года, когда вокруг него все туже сжималось кольцо арестов. Вполне понятно, что он скрывал свой страх даже от ближайшего друга Никиты, отдыхая с ним на подмосковной даче; в такие ужасные времена даже друзья не доверяют друг другу. И вдруг, день или два спустя, вспоминает Хрушев — «Якир — предатель, Якир — враг народа! Раньше Сталин очень уважал Якира... И вдруг Якир и вся эта группа — враги народа?» Однако, говорит Хрушев, «тогда еще не было сомнений насчет того, что они могут оказаться жертвами клеветы... Тогда у нас ничто не вызывало сомнений»<sup>118</sup>.

На следующий день, когда Сталин представил в Политбюро записку с предложением исключить Якира из партии и передать его дело НКВД, среди прочих поставил свое одобрение под текстом и Хрушев: «Голосую за предложение Политбюро. Н. Хрушев»<sup>119</sup>. Возможно, в конце концов он и убедил себя в том, что Якир виновен — на какие сделки с совестью не пойдешь, чтобы спасти собственную шкуру! «Я волновался, — вспоминал он позже. — Во-первых, мне было его жалко. Во-вторых, тут могли и меня потянуть: мол, всего за несколько часов до ареста Якир был у Хрущева, заходил к нему ночью, и они ходили и все о чем-то разговаривали»<sup>120</sup>.

Что же до Корытного — он, не выдержав напряжения, попал в больницу с сердечным приступом. В тот же вечер, когда его навещал Хрушев, за ним явились из НКВД. Хрушев рассказывает: «В этом случае у меня нашлось еще какое-то объяснение. Хотя я и считал Корытного честнейшим, безупречным человеком, но раз Якир оказался изменником, предателем и агентом фашистов, а тот был его ближайшим другом... Значит, возможно, я ошибался и зря доверял этому человеку»<sup>121</sup>.

Приемная дочь Хрущева Юлия приводит дело Корытного как доказательство того, что о невиновности многих арестованных ее отец знал<sup>122</sup>. И сам Хрушев подходит вплотную к такому признанию, говоря о судьбе своих помощников Рабиновича и Финкеля: «Я никак не мог допустить даже мысли, что эти двое, Рабинович и Финкель, которых я отлично знал, могут быть действительно “врагами народа”. Но на всех, кого арестовывали, имелись фактические материалы [видимо, признания обвиняемых], и я не имел возможности их опровергнуть». В случае с Марголиным на миг прорывается откровенность: «Я просто не мог допустить мысли, что Марголин — враг народа»<sup>123</sup>.

В другом месте своих воспоминаний Хрушев говорит о людях, которых в свое время клеймил «предателями»: «Сей-

час самое выгодное было бы сказать: “В глубине души я им сочувствовал”. Нет, наоборот, я и душой им не сочувствовал, а был в глубине души раздражен и негодовал на них, потому что Сталин (тогда мы были убеждены в этом) не может ошибаться!»<sup>124</sup>

Признание в жалости к предполагаемым преступникам вовсе не было выгодно для Никиты Сергеевича — ведь оно означало бы, что уже тогда он сомневался в их виновности. Ему оставалось одно — не только уверять всех вокруг, что он свято верил в их виновность, но и постараться убедить в этом самого себя. Противоречия и натяжки в этой части воспоминаний Хрущева столь сильны, что один из его биографов замечает: «Сами по себе, ничем не подтвержденные, его слова ничего не стоят»<sup>125</sup>. При всем своем искусстве обмана и самообмана одурачить читателей Хрущеву не удается.

Тридцать седьмой год стал для коммунистов годом непреходящего ужаса. Множество помощников и подчиненных Хрущева попали в застенки НКВД, и резонно было ожидать, что следующим станет он сам. На партийной конференции, где «переизбирались» высшие партийные лидеры, делегатам вдруг показались подозрительными биографические сведения об участии Маленкова в Гражданской войне. Маленкова спасла только горячая защита Хрущева; по окончании конференции Хрущев подошел к Кагановичу и признался в собственном проступке — в том, что в 1923 году увлеклся троцкизмом.

Каганович побелел (поскольку грех Хрущева бросал тень на него самого) и предложил Хрущеву переговорить об этом с самим Сталиным. Приняв Хрущева у себя в кабинете, Сталин спокойно посоветовал ему не упоминать об этом на партконференции. Однако Молотов, присутствовавший при разговоре, высказал мнение, что лучше было бы поднять этот вопрос, и Сталин кивнул. «Да, — сказал он, — лучше расскажите, потому что если вы не расскажете, то кто-нибудь может привязаться, и потом завалят вас вопросами, а нас — заявлениями»<sup>126</sup>.

Как же повезло Хрущеву! Что другим грозило страшной смертью — для него обернулось безобидным «привязыванием»! Ободренный поддержкой вождя, Хрущев сообщил собранию о своем прегрешении, добавив, что товарищи Сталин, Молотов, Каганович и другие члены Политбюро «уже знают о моей ошибке», но он решил, что о ней «должна знать и наша Московская партийная организация». Неуди-

вительно, что такое «признание» вызвало аплодисменты и немедленное переизбрание в бюро. Все это, рассказывает Хрущев, «еще больше укрепляло мое доверие к Сталину, рождало уверенность, что те, кого арестовывали, действительно враги народа».

Однако милость Сталина легко могла обернуться бедой. Во время прогулки по территории Кремля Сталин сообщил Хрущеву, что недавно арестованный нарком почт и телеграфов Николай Антипов дал на него показания. Глядя Хрущеву в глаза, Сталин ждал ответа. «Случайно, видимо, я вел себя так, что мои глаза не дали ему повода сделать заключение, будто я связан с Антиповым. Если бы у него сложилось впечатление, что я как-то “выдал” себя, то вот вам через какое-то время и новый враг народа»<sup>127</sup>.

Итак, он готов был защищать себя — но не других. А отказ подписывать смертные приговоры обернулся бы приговором самому Хрущеву и его семье. Когда Молотова впоследствии спросили, подписывал ли Хрущев расстрельные списки, он ответил: «Безусловно, конечно. Иначе бы он не выдвинулся. Было такое время... Разумному-то человеку ясно»<sup>128</sup>.

Менее известные чиновники бежали из Москвы и пытались раствориться в провинции. Томский, Гамарник и другие в ожидании ареста кончили жизнь самоубийством. Серго Орджоникидзе также предпочел покончить с собой. Хрущев отказываться от жизни не собирался. В 1937 году он сделался в Москве вездесущ. В 1935-м он произнес 64 речи на митингах и собраниях, в 1936-м — по меньшей мере 95<sup>129</sup>. Во время демонстрации на Красной площади 5 декабря 1936 года, по случаю принятия новой конституции, демонстранты несли его портрет наряду с портретами других партийных лидеров.

Кинохроника тех лет отражает как быстрое возвышение Хрущева, так и удовольствие, с которым тот взбирался по карьерной лестнице. На похоронах на Новодевичьем кладбище он наклоняется к Булганину и что-то шепчет, широко улыбаясь собственной шутке. Оба молоды, сильны, полны энергии и наслаждаются жизнью. На других похоронах Хрущев стоит в кругу высокопоставленных лидеров: Сталин в своем знаменитом френче, с холодным, немигающим взглядом, Молотов в шегольском костюме, с аккуратными усиками и в пенсне; а рядом с ними — Хрущев в белой рубашке, и взгляд его устремлен на Сталина<sup>130</sup>.

Даже в публичных речах Хрущев предпочитал неформальный стиль, теплоту и открытое обращение к публике.

Некоторые его речи запечатлены на пленке. Мы видим в кинохронике, как он извиняется в ответ на упрек пожилой женщины из первого ряда, жалующейся, что в зале слишком жарко, и улыбается своей «фирменной» смущенно-плуговатой улыбкой, словно говоря: «Ну что ж тут поделаешь». Голос Хрущева — странно высокий, певучий, с произношением немного «в нос» — плохо сочетается с круглым полным лицом и коренастой фигурой. Говорить он старается в сталинском стиле — короткими рублеными фразами, подчеркивая периоды движениями правой руки. «Если уж говорить о себе, — рассказывает Хрущев в мемуарах, — то я считался неплохим оратором. Выступал всегда без текста, а чаще всего даже без конспекта». Однажды, когда ему пришлось выступать вслед за Кировым (который считался блестящим оратором), Хрущев сильно нервничал. Но после выступления Каганович поздравил его: «Замечательно, блестяще выступили. Это отмечено Сталиным. Он сказал: “С Кировым рядом выступать тяжело, а Хрущев выступил хорошо”»<sup>131</sup>.

Сталина Хрущев обожал: в особенности восхищали его те качества диктатора, которые он старался развить в самом себе. С самого начала он оценил «ясность ума Сталина и четкость его формулировок». Позже, когда он узнал Сталина поближе, то «был буквально очарован Сталиным, его предупредительностью, его вниманием, его осведомленностью, его заботой, его обаятельностью и честно восхищался им»<sup>132</sup>.

Конечно, в этих утверждениях немало уже знакомого нам обмана и самообмана — но чувствуются в них и искренние нотки. Сталин обладал огромной энергией и несгибаемой волей. Его способность сводить сложные вопросы марксизма-ленинизма к простым силлогизмам импонировала малообразованным людям, подобным Хрущеву. Тщательно скрывая свой чудовищный эгоцентризм, Сталин умел казаться прямым и открытым. Много лет спустя, уже после того как Хрущев ниспроверг с пьедестала своего бывшего вождя, один из его ближайших помощников с удивлением заметил, что, несмотря ни на что, Хрущев «завидовал Сталину»<sup>133</sup>.

Как заместитель Кагановича, Хрущев по меньшей мере дважды был в Кремле уже осенью 1932 года (одна встреча длилась 35 минут, вторая — 40). В период между 1 апреля и 18 мая 1934-го записи в журнале приемной Сталина свидетельствуют о четырех визитах Хрущева, которые длились от получаса до двух с половиной часов<sup>134</sup>. Кроме того, Хрущев встречал своего идола на заседаниях Политбюро, которые разрешалось посещать членам ЦК. Приглашал его Сталин и на неформальные встречи. «Когда Сталин шел в театр, он

порой поручал позвонить мне, и я приезжал туда или один, или вместе с Булганиным. Обычно он приглашал нас, когда у него возникали какие-то вопросы и он хотел, находясь в театре, там же обменяться мнениями по вопросам, которые чаще всего касались города Москвы. Мы же всегда с большим вниманием слушали его и старались сделать именно так, как он нам советовал»<sup>135</sup>. Проходили встречи и в домашней обстановке: «Сталин, бывало, нас... приглашал на семейные обеды и всегда шутил: “Приходите обедать, отцы города”»<sup>136</sup>.

О чем еще мечтать?! «Это были такие непринужденные семейные обеды, с шутками и прочим. Сталин на этих обедах был очень человечным, и мне это импонировало. Я еще больше проникался уважением к Сталину и как к политическому деятелю, равного которому не было в его окружении, и как к простому человеку»<sup>137</sup>.

И Сталин, казалось, отвечал ему тем же. В декабре 1937 года он выступал на Московской партийной конференции, где председательствовал Хрущев. «Товарищи, — сказал Сталин, — должен признаться, я не собирался выступить перед вами. Но наш уважаемый Никита Сергеевич буквально вытащил меня сюда, на собрание. “Обязательно приходи, — говорит, — и скажи что-нибудь”». В словах Сталина звучат теплота и симпатия к Хрущеву. Более того: в его передаче Хрущев обращается к нему на «ты»! Едва ли такое неформальное обращение и вправду было возможно; но очевидно, что Сталин стремился продемонстрировать слушателям самые дружеские чувства к Хрущеву<sup>138</sup>.

Да и почему бы Сталину не любить Хрущева? Помимо того что Хрущев верно служил ему и искренне его боготворил, достоинства и недостатки его натуры как нельзя лучше дополняли характер самого Сталина. Сталин не любил выступать — а Хрущев обожал это занятие. Сталин был неразговорчив и угрюм; Хрущев — открыт и дружелюбен. Сталин редко покидал Москву (не считая отпусков на Кавказе) — а Хрущеву не сиделось на месте. До своей безвременной и загадочной кончины ближайшим приближенным Сталина был Киров, тоже на вид «открытый и бесхитростный»<sup>139</sup>. Теперь его сменил такой же «добродушный и безобидный» Хрущев.

Сталин был непривлекателен. Будучи небольшого роста<sup>140</sup>, отправляясь на публичные мероприятия, он надевал сапоги на каблуках и выступал только с возвышений. Лицо его было изуродовано оспой, зубы неровные, подвижность

левой руки и плеча ограничена после травмы, полученной в детстве. Торс слишком короткий, а руки чересчур длинные. «Для него настоящее несчастье, — говорил о нем Бухарин, — что он не способен никого, в том числе и самого себя, убедить, что он выше всех»<sup>141</sup>. Так что, возможно, сыграл свою роль и маленький рост Хрущева.

Знания, полученные Сталиным в Тифлисской семинарии, не шли ни в какое сравнение с университетским образованием Ленина и Троцкого. Сталин собрал огромную библиотеку, много читал (делая заметки на полях), занимался философией, писал (если можно так выразиться о процессе, в котором, несомненно, участвовал не он один) зубодробительные труды по самым разным предметам, от экономики до лингвистики, и, в конечном счете, являлся главным советским цензором. И все же, по словам Бухарина, «его снедает тщетное желание стать видным теоретиком. Он чувствует, что это — единственное, чего ему не хватает»<sup>142</sup>. Большинство подручных Сталина (кроме Молотова, Микояна и Жданова) были примитивны даже по сталинским стандартам (так, Ворошилов вообще нигде не учился — он работал с восьми лет), но из всех них Хрущев, пожалуй, производил впечатление наиболее безобидного и приятного человека.

Были у Хрущева и еще две бесценные черты. Во-первых, если молчаливость человека замкнутого всегда подозрительна, то болтливое Хрущева можно было не опасаться; если бы у него и были какие-нибудь секреты, ничего не стоило их выведать. Во-вторых, Хрущев искренне восхищался своими кремлевскими коллегами и стремился наладить с ними хорошие отношения. Кагановича он восхвалял как «человека, преданного партии и практическому делу. В работе, которую он проводил, он, как говорится, наломал немало дров, но не жалел при этом ни сил, ни здоровья. Трудился преданно и упорно»<sup>143</sup>. С Маленковым он также «дружил. Мы вместе работали в Московском горкоме партии». Более того, Хрущеву «всегда нравился» Ягода, до 1936 года возглавлявший энкавэдэшную мясорубку. Он «всегда находил понимание» и с Ежовым, который был его куратором от ЦК во времена работы Хрущева в партячейке Промакадемии<sup>144</sup>.

После того как Ежов занял должность главы НКВД, рассказывал позже Хрущев, «началась буквально резня, множество людей попало в эту мясорубку». Тем не менее Ежов казался ему человеком «надежным»<sup>145</sup>. Со временем Сталин ликвидировал и Ежова (который, как до него Ягода, слишком много знал и стал удобным козлом отпущения) и заменил его Берией, страшным человеком, прославившимся не

только массовыми репрессиями, но и серийными изнасилованиями. Однако в тридцатых, если верить мемуарам Хрущева, ему и Берия «понравился»<sup>146</sup>.

В списке людей, с которыми Хрущев поддерживал «хорошие отношения», значатся и самые кровавые сталинские мясники. Если бы над сподвижниками Сталина был проведен посмертный «Нюрнбергский процесс», на скамье подсудимых оказалось бы немало друзей Хрущева. Разумеется, не все друзья Хрущева были преступниками. И не со всеми коллегами Хрущев дружил. Однако то, что в своих воспоминаниях он не жалеет для этих людей хороших слов, хотя комплименты им теперь способны только замарать его самого, показывает, как важен был для Хрущева имидж «своего парня», всеобщего друга-приятеля, вызывающего мгновенную симпатию у любого, кто его встретит. Он хотел быть «приятным человеком» — и, пожалуй, по сравнению со своими кремлевскими коллегами, таким и был<sup>147</sup>.

На еще одной кинохронике мы видим Хрущева на партийном собрании с Ежовым и членом Политбюро Андреем Андреевым. Все трое разговаривают: широкая улыбка Хрущева, его оживленная поза составляют яркий контраст с его собеседниками. А вот другая съемка, сделанная во время парада: вожди стоят на трибуне Мавзолея, Хрущев подбегает к Сталину и Кагановичу сзади и начинает что-то им рассказывать. Они слушают, не поворачивая голов, с каменными лицами; а круглая простецкая физиономия Хрущева так и светится радостью и оживлением, пока он торопливо выкладывает свои новости им в спину.

Образ, запечатленный на этих кадрах, двойствен: с одной стороны — бодрость и энергия, с другой — напряжение и неуверенность (кому приятно, когда тебя слушают, повернувшись спиной?). Источником напряжения служила не только работа, но и личная жизнь. Как восходящая кремлевская звезда, Хрущев жил, по советским стандартам, очень благополучно. Однако он постоянно находился под невероятным давлением, и причиной тому была не только его общественная роль, но и скрытые от чужих глаз домашние обстоятельства.

В 1934 году Хрущев и его семья переехали в недавно отстроенный Дом Правительства, прославленный в романе Трифонова «Дом на набережной». Возведенный в 1931 году и предназначенный для жилья высшей партийной и государственной элиты (за исключением самых высоких чинов, живших в самом Кремле), Дом Правительства представлял собой массивное одиннадцатизэтажное здание, состоящее из

нескольких корпусов с отдельными дворами. Двадцать пять подъездов вели в 506 многокомнатных квартир, которые были обставлены «пышной, но безвкусной казенной мебелью»<sup>148</sup>. Услуги, предоставляемые жильцам, были по тому времени просто фантастическими: центральное отопление, газ, горячая вода круглые сутки, телефон в каждой квартире (и это — в то время, когда простые москвичи телефонов дожидались годами), два лифта в каждом подъезде плюс грузовой лифт — на черной лестнице, магазины, парикмахерская, поликлиника, кафе, даже кинотеатр. Нет нужды говорить, что дом находился под неусыпным надзором соответствующих служб: чекисты и охраняли высокопоставленных жильцов, и следили за ними.

В эпоху, когда большинство москвичей теснились в коммуналках, семья Хрущева получила просторную пятикомнатную квартиру. По советским стандартам, этого было более чем достаточно — хотя и в такой квартире порой возникали проблемы с размещением пятерых детей (Рады, Сергея, родившегося 6 июля 1935 года, Елены, родившейся 17 июля 1937 года, а также Юли и Лени — детей от первого брака), родителей Хрущева и охраны, занимавшей отдельную комнату<sup>149</sup>. У Хрущева была машина с шофером, однако позже он настаивал, что жил скромно: «Сейчас, к сожалению, не то. В ту пору никто и мысли не допускал, чтобы иметь личную дачу: мы же коммунисты! Ходили мы в скромной одежде... А костюма, в современном его понимании, не имели: гимнастерка, брюки, пояс, кепка, косоворотка — вот, собственно, и вся наша одежда. Сталин служил и в этом хорошим примером»<sup>150</sup>.

Принадлежа к *начальству*, Хрущев получал не только хорошую зарплату, но и определенные блага и привилегии, которые за деньги не покупались. Одни из них — например, служебный автомобиль — были всем видны; но закрытые магазины, кафе, курорты и ежемесячные премии «в конверте» скрывались от простых людей. Сам Хрущев признавал, что он со своими коллегами «привык закидывать в рот бутерброды, сосиски и чаем запивать между заседаниями в Кремле», однако настаивал, что «дома часто есть было нечего»<sup>151</sup>. Его московский сослуживец Эрнест Кольман, однако, вспоминал обильные завтраки, которые «уборщица в красном платочке приносила в кабинет на большом подносе», и деликатесные обеды в кремлевском кафе — «лучшем из всех городских ресторанов». Это же кафе по выходным предлагало высококачественные блюда «навынос». Цены были невысоки, вспоминает Кольман, а еда «приготовлена по-коро-

левски». Никаких очередей, никаких карточек: «Стол ломился от вин и всевозможных изысканных закусок, каждый ел не порциями, а сколько мог и хотел»<sup>152</sup>.

Поместье Огарево, где позже находилась государственная дача Хрущева (а ныне и Ельцина), до революции принадлежало генерал-губернатору. Теперь его главное здание было отведено для руководителей партии и правительства. Хрущевы занимали две комнаты на втором этаже в другом доме, прежде служившем для приема гостей царской крови. Булганин и его семья жили этажом ниже. В соседних комнатах обитали другие московские чиновники, в том числе и злосчастный Семен Корытный<sup>153</sup>. Мария Сорокина прошла путь от горничной до помощника директора дачи Хрущевых. Ее сын Дима в начале тридцатых дружил с Леной Хрущевым. В фотоальбоме Сорокиной сохранились фотографии Димы и Лени: на них мальчики загорают в шезлонгах, плавают и катаются на лодках по Москве-реке, играют в теннис<sup>154</sup>.

Однако за этим блестящим фасадом не все шло так гладко, как казалось с первого взгляда. Отец Хрущева помогал занятому сыну по хозяйству: ходил за продуктами в спецмагазины и, когда лифт не работал, относил Раду в детский сад, расположенный на одиннадцатом этаже, на руках. На Диму Сорокина он производил впечатление типичного, словно из книжек, мужика, никогда не расстающегося с самокруткой вонючего табака-самосада. В ответ на упреки сына старик грозил уехать обратно в Калиновку: «Там буду курить, что хочу, и никто мне мешать не станет».

Однажды мать Никиты Хрущева сказала сыну, что отец на него сердит, потому что сын «не уважает отца, слова не держит». Оказывается, Хрущев обещал отцу новую пару ботинок, а потом об этом забыл. Хрущев позже пересказывал эту историю со смехом; однако за ней скрыт конфликт, связанный с унижительной зависимостью отца от сына<sup>155</sup>.

Мать Хрущева также потеряла прежнее главенство в семье: она тоже оказалась в зависимости от сына, часто принуждена была сидеть одна на кухне или вместе с другими старухами во дворе перемывать кости соседям, как когда-то дома, в Калиновке. Ксения Ивановна выходила во двор со своей табуреткой, и скоро к ней присоединялись другие «бабушки». Хрущев не одобрял этих старушечьих сплетен, которые, как позже замечала его жена, «в тридцатые годы могли стоить жизни». Однако, продолжает Нина Петровна, мать «его не слушала». Однажды, когда Ксения Ивановна потребовала, чтобы маленькая Рада ее слушалась, потому

что она старше и умнее, девочка спросила: «Умнее Сталина?» — «Конечно!» — ответила бабушка<sup>156</sup>.

Еще одним предметом постоянных споров Хрущева как с матерью, так и с женой было поведение Лени. Леня не ладил с сестрой Юлией. Продукты и одежду, получаемые из спецраспределителей, он раздавал товарищам. Однажды съехал вниз по лестнице Дома на набережной на мотоцикле. Бабушка любила внука и все ему прощала, а мачехе приходилось молчать. Урезонивать Леню следовало Хрущеву; однако он оказался на удивление близоруким отцом. Вместо того чтобы наказывать мальчика, он винил во всем Лениных друзей. Леня и Дима Сорокин хотели вместе поступать в летную школу, но Хрущев запретил. Дима, сказал он, «дурно влияет» на Леню. Пусть найдет себе какое-нибудь другое занятие<sup>157</sup>.

Призывать Леню к порядку Хрущеву было особенно сложно, поскольку более серьезные прегрешения сына во многом повторяли его собственные. К 1937 году, когда ему было всего 20 лет, Леня сошелся уже с двумя женщинами (обе были еврейками) и обеих бросил, причем одну — с ребенком. В 1935 году от него забеременела Эсфирь Наумовна Эттингер. По рассказу ее сына, офицера ВВС и летчика-испытателя Юрия Леонидовича Хрущева, Эттингер была художником-оформителем и познакомилась с Леной в летнем лагере недалеко от Москвы. Пара недолго пробыла вместе — и не потому, что Никита Хрущев этого не хотел. Более того, старший Хрущев был настолько разгневан поведением сына (странно отражающим его собственные грехи 1922 года), что практически выставил его из дома<sup>158</sup>.

Второй любовью Лени стала Розалия Михайловна Трейвас, хорошенькая белокурая и голубоглазая актриса, дядя которой, Борис, работал под началом Хрущева в Бауманском райкоме, а затем стал комсомольским функционером. Хрущев позже характеризовал Трейваса как «очень дельного, хорошего и умного человека», однако рассказывал и о том, как Каганович «предупредил, что у него имеется политический изъян: он в свое время... подписал декларацию в поддержку Троцкого». Разумеется, вскоре Трейваса арестовали: в следующий раз Хрущев встретился с ним в тюрьме, инспектируя тюрьмы по приказу Сталина. «Когда началась мясорубка 1937 года, то и он не избежал ее», — сокрушается Хрущев в своих мемуарах<sup>159</sup>. Однако как бы он ни симпатизировал Трейвасу, известие, что сын связался с его племянницей, Хрущева шокировало. Хуже того, 11 ноября 1937 года Леня женился на Розе! Знакомься с молодой невесткой,

Хрущев, вспыхнув, разорвал свидетельство о браке. После этого до января 1938 года молодые жили у друзей; вскоре Леонид бросил Розу и переехал вместе с родными в Киев<sup>160</sup>.

Большое хозяйство Хрущева требовало заботливого присмотра. Однако сам Хрущев, погруженный в работу, почти не виделся с семьей. Даже редкие свободные вечера и выходные он предпочитал проводить на даче с коллегами и друзьями. Дети знали его как человека веселого, вечно улыбающегося: он пел им песни, читал стихи и даже устраивал забеги на лыжах. Однако «у него никогда не было времени на детей», — вспоминала Рада<sup>161</sup>. Домашнее хозяйство лежало на Нине Петровне; но и она до 1935 года была загружена работой на Московском электроламповом заводе, где отвечала за «агитацию и пропаганду» и вела партийную учебу.

Работа Нины Петровны отнимала все ее время. «Выполнила первую пятилетку в два с половиной года, получила почетную грамоту от администрации, парткома и профкома, — вспоминала она. — Познакомилась с большим кругом активистов, с литераторами, старыми большевиками и политкаторжанами, приходившими на завод по поручению своих организаций, с подшефными колхозниками... Те годы считаю наиболее активными годами своей политической и вообще общественной жизни». Однако она работала на пределе сил. На заводе было занято около трех тысяч рабочих, трудившихся в три смены. Нина Петровна уходила на работу в восемь утра и возвращалась «самое раннее» в десять вечера. Работала она по пятидневке с плавающим выходным, поэтому «никогда не имела выходных вместе с Н. С., он работал с постоянным выходным». Нина Петровна рассказывала, как «жалела», что не может пойти вместе с мужем и его друзьями в театр в воскресенье — она по воскресеньям работала. «И все другие культурные мероприятия, в которых участвовал Н. С., мне были недоступны из-за “непрерывки”».

Свои родственные отношения с Хрущевым Нина Петровна старалась держать в секрете. Она сохранила девичью фамилию и ездила на работу не на служебной машине, а на трамвае, хотя такая дорога и отнимала «не меньше часа». Однажды партсекретарь с ее завода позвонил Хрущеву поздно вечером и, когда трубку сняла Нина Петровна, сухо спросил, кто говорит. «Кухарчук», — автоматически ответила она. «“А ты что там делаешь? Я звоню на квартиру товарища Хрущева”». Очень он был поражен тем, что я, оказывается, жена Хрущева»<sup>162</sup>.

Напряжение усиливалось, если болели дети. Когда Рада слегла со скарлатиной, ее «положили в больницу рядом с

заводом. По вечерам я бегала смотреть через окно, что делает дитя, и видела: дали ей миску с кашей, большую ложку, а няня ушла к подругам поболтать. Рада была маленькая, немного больше года; вижу, ребенок стал ногами в миску с кашей и плачет, а няня не идет, и ничем помочь нельзя... Забрали ребенка под расписку досрочно, еле выходили».

После рождения Сергея Нина Петровна оставила работу. Несколько лет, до рождения Елены, она работала в Объединенном профсовете инженерно-технических обществ. Начиная с 1938 года, когда семья переехала в Киев, «все, что я делала с этого времени, была работа по поручениям райкома партии. В киевский период я преподавала историю партии в районной партийной школе (при Молотовском райкоме г. Киева), выступала с лекциями, учила на вечерних курсах английский язык. Дети маленькие (трое), часто болели». Уйдя с работы, Нина Петровна, по воспоминаниям Рады, стала «не такой раздражительной». Со старшей дочерью она оставалась строга («Очень трудно, почти невозможно было что-либо у нее просить»), но с младшими была мягче и даже их «баловала»<sup>163</sup>.

По словам Рады, Нина Петровна «никогда не сожалела о том, что прекратила работать — по крайней мере, при детях». Впрочем, она была не из тех, кто жалуется. Только после смерти мужа, доживая свой век почти в полном одиночестве, она иногда говорила своей домработнице: «Настоящей-то жизни я и не видала».

Конечно, эту ношу она в большой степени взвалила на себя сама. Но, несомненно, немало проблем добавлял ее высокопоставленный муж. Мы никогда не узнаем, делился ли с ней Хрущев своими мыслями и потаенными страхами, — известно лишь, что при детях Никита и Нина Хрущевы никогда не говорили о политике, не критиковали (разумеется) Сталина, но и не хвалили его.